

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ

*Перевод с испанского Сергея Гончаренко **

* * *

Я, пришелец из ночи, лишь с ней и в ладу,
ибо мне она мать и отчизна... Короче,
я тогда лишь и счастлив, когда попаду
в чернокнижную мглу лунатической ночи.

Я бреду, усмехаясь под стать королю,
я досаду свою до рассвета оставил:
всех и вся в темноте я всем сердцем люблю,
кроме, черт побери, грамматических правил!

Но прощу я и правила эти потом,
ибо Полночь — Офелия с белым цветком,
ибо Ночь — леди Макбет с кровавым клинком, —

и спасенье мое, и погибель при этом.
Награди же собою меня поделом,
ночь, которой вовек не сменится рассветом!

* * *

И пугач и неясуть —
по душе мне они,
ибо филинов голос
мне с рожденья сродни.

Голос дьявольской жути,
колдовской аргумент
в пользу древних преданий
и зловещих легенд.

* ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ — Стихи (*Перевод с испанского Сергея Гончаренко*) // *Поэзия Колумбии* (М.: Художественная литература, 1991), 93–127.

Некоммерческое электронное издание. «*Im Werden Verlag*», 2008.
<http://imwerden.de>

Мне поведает филин
про великую боль,
про абсурд литании
и про вещей пароль,
без которого тайну
рифмой не озарить,
без которого песня —
не неясить, а сыть.

Без которого — сгинуть
в желтом пекле пустынь
и невзвидеть за тучей
поднебесную синь.
Потому-то мне филин
и его ведовство
по душе, ибо тайны
не постичь без него.
За абстрактной системой
верных формуле сфер
затаился премудрый
филино-люцифер.

Над трясиною сметы
и бумажных болот
филин, брат мой, хохочет,
то бишь песню поет.

Вдоволь, всласть над Леоном
каркай днесь, воронье:
завтра филины примут
Грейффа в братство свое!

Трубка Лео Легриса

Так вот она, трубка, которую Легрис
прогрыз, измышляя за ересью ересь
своей *луноличности*.

Так вот она, трубка, с которой беседу
ведет он, когда захлестнет непоседу
прилив апатичности.

Когда не хохочет он и не бормочет,
когда не горланит в ночи что есть мочи
он песни таинственной.

Когда он затоплен мечтой голубою,
когда он уходит в мечту с головою —
о ней, о единственной,

при виде которой наш Легрис опешил,
смешался и спешился и, безутешен,
забыл о греховности.

Отныне у бочки не выбьет он днища,
не выпьет ни капли — он кормится пищей
высокой духовности.

Взнузда, стреножила, шоры надела —
а он еще глупостей всех не наделал:
так много осталось их...

Свирепо дымит он, как будто бы память
о ней этим дымом желает обрмить
в минуту усталости.

Где след балагурства в былом бедокуре?
Не в этой ли трубке, которую курит
всегда одинаково

наш Легрис, блуждая в мечтах, навигатор,
от полюса к полюсу через экватор
без компаса всякого?

Обычная трубка... Ну что в ней такого?
Пожалуй, лишь то, что самим Альдекоа
когда-то подарена...

Но эту обычную трубку прогрызли
великого Легриса зубы и мысли,
вот так-то, сударыня!

Не более, чем баллада боли

В сей балладе из тетради
все как в тризне
нашей жизни:
любим, спорим,
спим, ишачим,
счастье — с горем,
радость — с плачем.

Пантомима бьющей мимо
иллюзорности задорной
и затворность
спеси вздорной...

Вроде-рифмы
ради рифмы,
радий славы
ради лавы
вулканической машины
иронической морщины...
Тщанье! Ишь ты и куда ты?!
Стекла слишком розоваты.

Тень мгновенья,
лень забвенья:
все как в тризне
нашей жизни
в сей балладе
из тетради...

Баллада о странствующем трувере

С моей гитарой, как дозорный,
брожу я полночью дремучей
и рассыпаю, словно зерна,
в ночи певучие созвучья.

С моей гитарой утром рано
бреду окольною дорогой,
когда не дремлет лишь охрана
наймитов Критики убогой.

Бреду себе в тени акаций
я, сумасбродный и бедовый,
минуя заросли абстракций
и метафизики бредовой.

Играю людям, травам, ивам,
пою не избранным, а многим,
играю скорбным и счастливым,
пернатым и четвероногим.

Бреду, оставив за спиною
сады, уголья и подворья,
туда, где стынет под луною
гранит пустынного нагорья.

Там слепнут скрипки и валторны,
но слышен глас гитары зрячей,
и месяц пляшет так задорно,
ни дать ни взять — хуглар бродячий.

Пусть ты освистана толпою,
не спорь, мелодия, с глухими:
ты рождена моей судьбою,
а не премудростью алхимий.

Плевать нам, песня, в самом деле
на то, кому кладут поклоны
горбатые Полишинели
и толстобрюхи Панталоне.

До этого нам нету дела:
пой, лира, под рукой Орфея,
свивай рулады, Филомела,
порхай, воздушная Психея,
а я, играя на гитаре,
бреду, ни перед кем не горбясь,
покуда пляшет мир в угаре
и вертится безумный глобус!

Баллада о хугларе, трувере и менестреле

Хуглар бродячий, менестрель
с душой как певчая свирель!
Ты на раскрестьях
всех дорог
оставил след...
Ты зяб и мок,
но все же брел ты, наг и нищ,
минуя сытость
городищ.

Дорог владетельный сеньор,
веселый пахарь тишины!
Твой горизонт
и кругозор
привязанностей лишены.
Пэр пустоши,
пустыни гранд, —
когда придешь ты в Самарканд,
когда копытами
коней
— Мазепа! — истолчешь
судьбу
и на галере, Галилей,
возденешь в небеса трубу,
как будто новую свирель,
хуглар бродячий, менестрель!

Трувер, бродяга, трубадур,
смотри двора не обрети!
Не зря тебя нарек авгур
скитальцем
Млечного Пути.
Сменив оседлость
на седло,
в Офир загадочный
скачи
и погружай свое весло
в лучи Антареса в ночи.
Узри в абсурде
глубину,
гони благоразумье прочь,
в погоне настигая ночь
длиною
в тысяча одну.

Хуглар бродячий, менестрель
с душой, как певчая свирель...
Шагай пешком, не чуя ног,
и знай: в грядущем, озорник,
твой след, пролеглий поперек
всех троп, тропинок и дорог,
поставит критику в тупик.
Твоя судьба — не конфитюр,
но и характер — не желе.
Так вверься ветру авантюр,
доверься небу и скале,
над пропастью
давай и впредь —
канатоходь, бреди и бредь!
Броди, бродящий сок! В азарт
войди, войди, бродячий бард!
Познай себя в своей судьбе,
и завтра скажут о тебе:

«Хуглар, трувер и менестрель
с душой как певчая свирель, —
он на раскрестьях
всех дорог
оставил след...
Он зяб и мок,
но все же брел он, наг и нищ,
минуя сытость
городищ...»

Грустная баллада-псалмодия в духе покаяния

После буйства алкоголя,
после избытка хмеля
всякий раз
скорбь, над ухом колокола,
вместо прежнего веселья,
входит в нас.

Дух забулькавшей бутылки
говорил мне: «Остров Туле
будет ваш!»
С Туле вновь меня надули!
Мне, бутылки, опостылел
ваш витраж!

Я, поверя в парус хмеля,
не заботился о киле,
ну и вот,
киль мой напрочь съели мели
и, от цели в целой миле,
я — банкрот!

Уж не эти паруса ли
вдохновение сулили
во хмелю?
А подсунули сусали
вместо золота мне... Или
я юлю?

Мне сирены хмеля пели:
«Чтоб создать шедевр на деле,
нужен ром.
Гениален ты, доколе
ценишь дружбу алкоголя
ты с пером».

Свет сошелся клином, что ли,
на коварном алкоголе?
Ну, едва ль.
Убираю парус хмеля,
ибо этот пустомеля
лгун и враль.
Струны на моей виоле!
Алкогольной канифоли
вам не знать!
Не по воле алкоголя
выхожу один я в поле
воевать.

Во хмелю я так едва ли
вам сыграю
на свирели.
Будьте трезвыми, рояли,
рифмы, мысли,
акварели
у меня!
Хватит хмеля вам
в бемоле,
в птичьей трели
и в глаголе,
в баркароле
в роще, в поле,
в свете дня!

Мораль

В ореоле алкоголя
кажется изящней, что ли,
всякая строка.
Но по истеченье хмеля
в ней видны сучки и щели,
и берет тоска.
Что ж, тоска надежней хмеля:
раз тоскуешь, значит, к цели
близок ты вполне,
ибо — вот вам суть морали —
больше истины в печали,
нежели в вине.

Танец для раскачки

Старинная рапсодия

I

Медлительность линий ленивого ливня.
Грузны и мохнаты
рулады
прохлады,
туманной, как взгляд
умиленной миледи...
Ленивые ливни,
как будто медведи,
танцуя на льду,
полземли раскачали...
Медлительность линий ленивого ливня
и поступь моей одичалой печали!

II

Медлительность линий
ленивого ливня:
прильнули льняные
дождливые косы
к земле — не иначе,
как, русоволосы,
монахини, плача
о том, что невинны,
о том, что мужчины
их девственность не осквернили
в алькове
пролили слезу
над моею любовью,
над грустью моей,
над моею печалью.
Крученые струи дождя зазвучали,
ударив по клавишам окон
в тоске
о вереске и о ветле
на песке,
в очах у меня поселяя
крамолью
кручину, чреватую
глупую болью.
Медлительность линий
лоснящихся ливней,
сереющей пампы сырая дыра...
Струящийся проливень
проклятых линий
по мокрой спине
отсыревшей пустыни
проходится плетью
и Зла и Добра!

III

Медлительных ливней ленивые туши!
Лирические души!
Грустные очи, в которых блуждает
радуга бреда!
Тоскливые струи —
как тусклые спицы скрипучей кареты...
Пророки дождя, проливные аскеты!
Трепещущий призрак дождя фиолетов!
Грустные души поэтов!
Грузные думы ливневых градин, —
над виноградниками, беспощаден,
рок, торжествуя, руку простер...

Двигается в небе туча косая —
гаснет свеча, на ветру угасая,
и задохнулся дымом костер...
Серые ливни, тучи — как туши...
Брызнули тушью серые души,
тушит все свечи ливневый душ...
Бликами света в газовой лампе
тени надежды бродят по пампе...
Траурней марша
праздничный туш...
Будят презренье мое и безмолвье...
В стылой пустыне ищут зимовье...
Песня немая
оглохшего ливня,
песня навечно разверзшихся хлябей...
Плач обнаженных
нежностью линий,
слезы галактик в микромасштабе,
желчь, и усталость, и наводнение
дней, погруженных в уединенье,
дней беспросветных,
словно удушье...

Медленных ливней грузные туши!

IV

Дожди, дожди...
Не жди зимы —
дождись дождей.
Лей, Водолей,
дождей псалмы
в псалтырь дождей, —
сырей,
серей...

И дождь дудит
в свою дуду,
танцуя,
как медведь
на льду.

Циркач танцует на жерди...
Не жди добра,
добра не жди...
Дожди, дожди, дожди, дожди...
Дожди снаружи
и в груди!

Танец орангу-танго

*Molto cantabile*¹

Звуки вроде гонга
спереди и с фланга.

Слаще нет дифтонга
для орангутанга,
но мешает барду
этот рев немножко,
ибо, сняв мансарду,
пишет у окошка
бард неутомимо
стиховытворенье.

У него, вестимо,
нынче озаренье.
Звуки в стекла бьются,
бьется в стекла ветер,
а свеча на блюдце
еле-еле светит.
Залпами плутонга
спереди и с фланга
звуки вроде гонга
льются, как из шланга.

Это в честь цыганки,
бардовой соседки,
ветреной смуглянки,
редкостной кокетки,
на балкон с балкона,
обрывая ветки,
ухажер влюбленно
лезет, распевая
зычно серенаду.
Песня огневая!
Складу нет и ладу
в ней, а все ж цыганке,
бардовой соседке,
ветреной смуглянке,
редкостной кокетке,
ты пришлась по нраву,
горе-серенада.
Сей Джульетте, право,
лучшей и не надо.
Коль Ромео сей бы
смолк бы на мгновенье,
подарила б сейба
барду вдохновенье.

¹ Очень певуче (*ит.*).

Как поэту нужно
рифму подобрать бы!
Но жених натужно
в ожиданье свадьбы
льет — ну как из шланга —
звуки вроде гонга.

Звуки вроде гонга
спереди и с фланга!

Рев орангутанга
(что давно известно)
действует почище,
чем аккорды танго
или запах пищи.
Но хотя невеста,
в общем, и сомлели,
дело свести к постели
все ж не захотели.
Это поведенье
каверзной красотки
вызвало смятенье
в ухажерской глотке,
вызвало некстати,
ибо в результате
стиховытворенье
бардово завяло...
Слыша эти звуки,
опустил устало
он чело и руки,
и перо упало,
и, с пером в разлуке,
длань его достала
трубку из кармана,
старый плащ с дивана,
ветхий шарф из шкапу...
Нахлобучив шляпу
и впадая в кому,
бард ушел из дому...

Спереди и с фланга —
рев орангутанга.

Ночью черногрудой
звезды — как петарды.
Ласковой остудой
ночь целует барда.
Рифму вновь нашедши
и опять бледнея,
бард о сумасшедшей
мыслит Дульсинее.

И про звезды-очи,
и про нрав жестокий
бард рифмует очень
неземные строки.
Только почему-то
все-таки нередко
возникает смутно
чертова соседка
в пелене мечтаний
барда, жаром вея
среди очертаний
бестелесной феи.
Бард сопит, бледнея,
ибо рядом с нею
фея Дульсинея —
экспонат музея.

Мнится то и дело
барду ночь в разгуле.
Фея улетела
вновь на остров Туле.
За оплошку эту
разве бард в ответе?
Кто мешал поэту
думать о сонете?
Тот, кто, столь не тонко
распевая танго,
звуки вроде гонга
нагло лил из шланга!

Нордический танец

Балтийская мелодия

I

Туманны его маршруты
и солон мечтаний мед,
и только соком цыкуты
он жажду свою уймет.
Поэтому у поэта —
ночь ли, или светло,
зима ли, разгар ли лета —

нахмуренное чело.

II

Да, книги — тоска и опий,
да, сводят тома с ума.
Но опиум книжных копей
привязчив, увы, весьма.
Пригубил снадобье это —
мозги навсегда свело.
Поэтому у поэта —

нахмуренное чело.

III

Учтите и окруженье —
дурак ведь на дураке.
От них — головокруженье
и нервная дрожь в руке.
Любители трафарета
незыблемы все зело.
Поэтому у поэта —

нахмуренное чело.

IV

А женщины все коварны —
то любят, то портят кровь,
то выпренни, то бульварны.
Им лучше не прекословь,
иначе сживут со света
себе же самим назло.
Поэтому у поэта —

нахмуренное чело.

V

Поэт — белый парус мысли,
вторгающийся во тьму,
и тучи не зря нависли,
грозою грозя ему.
Он выше других, а это
другим снести тяжело.
Поэтому у поэта —

нахмуренное чело.

Сомнительная поэма о хмельном хугларе

Фрагменты

Прелюдия (*lento*)¹

Mais où sont les neiges d'antan?

*François Villon*²

Хмельной хуглар, хулиган еретический!
Вот он:
он пишет стихи химерически,
хулиганически неметрически!
Нагло бредет себе эгоцентрически,
нагло бормочет под нос экзотически
нетипические, не иначе,
стихотворенья... Вот потеха!
«Эй вы, в партере! Ну-ка, тихо!
Идет поэт, смеясь и плача!»

Скерцо (*serioso*)³

Да, он лунатик.
Он влюблен в луну. Но разве
пристрастие к луне подобно язве
и шаг к луне — уже к безумью шаг?
А как же Сирано де Бержерак?
Да и потом...

Трио

Полночное светило!
Стихами По тебя ль не освятила
поэзия? И проза не в разлуке
с тобою: сам Сервантес сухорукий
тебе обязан Пансой и Киханой...
Ну, а Фальстаф?
Отелло бездыханный?
А Лир, а Макбет?
Ричард Третий? Яго?
Офелия? Корделия?
За благо
тебя считали Китс и даже Шелли.
Ну а Лафорг с Бодлером?
Неужели
Рембо с Верленом
и Корбьер в придачу
в счет не идут и ничего не значат?

¹ Медленно (*ит.*).

² Но где ты, прошлогодний снег? *Франсуа Вийон (фр.)*

³ Серьезно (*ит.*).

Ну, а лунатик, пьяница из пьяниц,
Рубен Дарио, никарагуанец?

Скерцо (serioso)

Да разве ж луна, без которой ни шагу
все те, кто сжимает перо или флягу,
да разве ж луна...

Сирано и Верлен!

Не сыщется лунному свету замен!
О светоч великих поэтов
и малых,
возвышенных помыслов, замыслов шалых,
прославленных в мощных шедеврах титанов
и в жидких, но честных стихах графоманов!

Интерлюдия

Хмельной хуглар,
хулиган еретический!
Вот он, перед вами:
он пишет стихи химерические,
хулиганически неметрические!
Он весь какой-то асимметрический
и даже в чем-то нигилистический.
Не то чтоб развязный, но больно несвязный.
Нагло бредет себе, понимаете ли,
эгоцентрически,
нагло бормочет под нос экзотические
и нетипические, не иначе,
свои стихотворенья... Вот потеха!

«Эй вы, в партере! Ну-ка, тихо!
Идет поэт, смеясь и плача!»

Рассказ Сергея Степанского

Судьбу искушаю
почти каждый день я,
мне смерть улыбнулась
в минуту рожденья.

Эрик Фьордсон

Судьбу искушаю и ставлю на карту.
Нет страсти, по силе
подобной азарту.

Играю с огнем и, охвачен пожаром,
сдаю себя в ренту, дарю себя даром,
меняю бессмертье на шалую малость,
дразню и рискую... А что мне осталось?
Сажусь с шулерами — какая беспечность! —
и ставлю на ноль или на бесконечность...

Судьбу искушаю в алькове, в притоне,
на площади, на баррикаде, на лоне
природы — всегда и повсюду... Однако,
поставив с улыбкой на карту и на кон,
не алчу удачи, дрожа и бледнея, —
по мне лишь бы риск проявился яснее.

Играю на все я: на суть сердцевины,
на периферию, на глубь и вершины,
на то, что за гранью, на то, что подспудно,
рискую и прю на рожон безрассудно,
судьбу искушаю и ставлю на карту...

Нет страсти, по силе
подобной азарту.
Меняю бессмертье на малую шалость,
налево даря и направо даруя,
размениваюсь на веселье и жалость,
полцарства меняю на три поцелуя.

Высокое с низким безбожно мешая,
я с виду совсем безразличен, как филин,
но все, что увижу, всосет небольшая
бездонность моих змеевидных извилин.

Меняю бессмертье на старые лампы:
а вдруг среди них хоть одна — Аладдина?
Себя отдаю я банальности в лапы,
в когтях у греха воспаряю невинно,
меняю полжизни на грудь негритянки,
на серьги мулатки,
на взгляд северянки,
на медную брошку,
на меч Сигизмунда,
на глобус у Карла Великого в длани,
хотя и отдам его через секунду
я за исполнение глупых желаний.

Меняю полжизни на битую карту,
на нимб дурачины,
на сломанный столик,
на скальпель, прописанный Карлу Стюарту,
на бритву, которой побрился Людовик,
на древний романс, на чеканность сонета,
на кошку ангорскую, на мясорубку,
на чертову дюжину, тень минарета,
на ярость куплета, на старую трубку,

на куклу, которая вроде поэта
умеет заплакать и вымолвить «мама»,

на битую карту, на ярость куплета,
на струны гитары, поющей упрямо,
на пышный закат,
на рецепт Эскулапа,
на пару пантер с отдаленной Суматры,
на битую карту, на старую лампу,
на жемчуг, ласкавший ладонь Клеопатры,
на лестницу — ту, что увидел Иаков,

на череп де Грейффа, в который
в экстазе
вмещает он уйму изысканных знаков
усталости, страсти
и пьяных фантазий,
судьбу искушая и ставя на карту...

Нет страсти, по силе
подобной азарту!

Рассказ морехода

Фрагменты

*

Итак, я отправляюсь в путь. Куда,
зачем — неважно. Дело ведь не в цели.
Останусь цел ли или на прицеле
вдруг окажусь у рока — все равно.
Я, в неподвижном кресле утопая,
отдам швартовы и поставлю паруса.

Снимаюсь с якоря, облокотясь о стол,
и курс держу на запредельный берег,
в открытый хаос, не заботясь вовсе
о том, сумею ли оттуда возвратиться.

Я уплываю. Разве ветер — это
не лучший мореход? А облака —
не корабли скитальца Одиссея?
Мечта подобна парусу Синдбада,
а дым, курящийся над этой трубкой,
подобен пене за кормой «Арго» Ясона.

Звук — лучшая ладья. Крыло мелодий
быстрей аэроплана поднимает
нас в стратосферу и уносит выше —
туда, где Апекс реет над зенитом,
оставшимся внизу среди антиподов.
Поэтому я отправляюсь в путь
и выхожу в открытый океан, не покидая
излюбленного кресла. Этот крейсер
корнями врос в паркет.
Я утопаю в кресле.
Оно — мой понт, и палуба, и парус.

*

Отдать швартовы! Паруса — под ветер!
Не спите, юнги, сукины вы дети!
Небось вчера на баб спустили деньги,
клянусь фок-мачтой, марселем и стеньгой!
Канат на кабестан! Не спите, черти!
Курс норд-норд-вест! Эй, духи водоверти,
грозящие и молнией и громом,
клянусь, вы захлебнетесь нашим ромом!
Руку на фал! Верти! Держи! Лавируй!
На кренгельсах! А ну, встряхнитесь! Лирой
бряцая, я кричу: не спать на фоке!
Эй, вашу так! Лентяи! Лежебоки!

*

Эй, восемь юнг! Два, три, четыре, восемь!
Вскарабкайтесь на марс! А ну-ка, просим!
Не хватит рей? Ха-ха! Меж тем скорее
пятнадцать строф я подниму на рею
за двадцать три секунды! Вымпел кверху!
И двадцать пять могу. Но эту вежу —
к булиям грота! Так держать, лентяи! —
рекордом не считаю я, слюнтяи:
могу и пятьдесят — благоговейно,
покуда в Пóрту бьет струя портвейна.

*

Отдать швартовы! Выше галсы, юнги!

Пусть бронзою звенит мой стих на юге,
пускай его несет на север ветер,
пусть снегом он уснет на белом свете,
пускай морская раковина ночью
проникнет влажной песней в средоточье
таинственно клокочущей пучины,
живущей в сердце каждого мужчины!

Держите румпель! Паруса на реи!

День — в самый раз, чтоб веяньям боря
виденья взвить под синеву зенита...
А полночь так чиста, как ты, ланита
сквозь дрему улыбнувшейся Людмилы...
Твои глаза, полночные светила,
мерцали, и на ложе, словно в розах,
лежала в косах ты русоволосых!

Отдать концы! Поднять бизань и марсель!

В очах ли штиля, в штормовой гримасе ль
увидю, море, я ночную мякоть
и не смогу сдержаться, не заплакать,
припомнив, как лучатся темнотою
глаза у Шахразады!.. Я не стою
ее — и все же, словно водометом,
мой сон облит ее огнем и медом.

Отдать швартовы! Паруса — под ветер!

Не спите, юнги, сукины вы дети!
Глядите: ночь фиалки и сандала,
единственная ночь, неповторимо
вращая в сердце острием кристалла,
пронзила лунным светом пилигрима,
свеченьем Сириуса пропитала
скитальца, побродягу, нелюдима!

Отдать швартовы! Выше марсель, черти!

Какая ночь! такая удалая
и тихая такая — тише смерти!
Какая ночь! Не полночь, а Аглая!
И штиль и шторм. Не ночь, а возрожденье
и воскресение, и вновь усенье
и глянцева гладь, и волны в пене,
неотвратимые, как наважденье!

Канат на кабестан! Отдать швартовы!

Крепите галсы! Паруса — под ветер!
Объятыя этой полночи бредовой
не променяю ни на что на свете!
И вечность не длинней такой минуты!
И не страшна ни бездна, ни могила!
Я разрываю узы, цепи, путы
и погружаюсь в ночь, как в струи Нила!

Сонатина

Еще раз ворваться, снова развеять
искры по ветру,
еще раз швырнуть камни в море,
мечты — в небо, небо — в душу,
еще раз напрячь мозг мыслью
о переплетении касаний и ускользаний.

Еще раз ворваться, опять одарить
жаждущего — влагой,
алчущего — пищей,
алчного — добычей:
таков мой обычай.
Одарить любовью,
отдаться присловью, поголовью
слов и снов, восславив улов
сеятеля, деятеля, вейтеля,
ходатая, оратая,
мечтателя, ваятеля, создателя...

Я всегда говорю, как чувствую.

Я всегда говорю, что чувствую.
Я всегда живу так, как думаю.
Я всегда пишу так, как думаю,
и всегда пишу, если чувствую,
что чувствую и думаю.

А чувствую я ароматами, ритмами и разными
восторгами, слезами, спазмами,
а думаю я рискованными помыслами,
солеными, едкими, терпкими, немислимыми мыслями.
Я пишу только то, что чувствую
или предчувствую, что почувствую:
только то, что не может во мне
улечься и усесться, а усердно раздрает сердце
или мозг — мучительным жжением,
напряжением, грозящим поражением
и самосожжением.

Еще раз ворваться. Сейчас. Еще раз и снова
развеять искры, звезды, объедки, помои
по ветру, по морю;
сусаль и стеклярус, мешающую мишуру
смешать — наудачу — с удалью и судьбою,
поставить на кон и на карту,
отдаться азарту
и выиграть вымысел — так-то! —
который живет факта.

Еще раз ворваться, опять одарить
страхом и страстью, гореньем и ленью,
утоленьем и жаждой,
чтобы отведавший этой браги однажды
вечно тянулся пересохшим ртом
к пенящемуся вину моему, кляня вину мою.

Я всегда чувствую то, что думаю.

Я всегда чувствую так, как думаю.
Я всегда думаю так, как чувствую,
и если *труверствую* и *трубадурствую*,
миннезингерствую, *менестрельствую*,
неистовствую или бездействую,
фантазирую или юродствую,
грублю или благородствую,
сочиняю метафоры, параболы,
ароматы, ритмы или фабулы,
вариации и варианты,
мемуары ли, корреспонденцию,
адажио или анданте,
антиритмы, гармонии, секвенции, —
уравновешиваю, как на коромысле,
всегда я вес эмоций с весом мысли.

Я должен прочувствовать то, что рассказываю.
Я должен изречь все то, что прочувствовал.
И если я вдруг выразился странно,
то это вовсе не означает,
что я чудачествовал или *причудствовал*.
Я просто предчувствовал: в этой издевке,
в ее подтексте, в ее *надсмысле*
не столько рисовки и утрировки,
сколько — безумья серьезной мысли.
Смех эсперпенто и буффонады,
суть карнавала, значение шуток
в том, чтоб узрели праздные взгляды
бездну, чей лик многозначен и жуток:
бездну отверстого разуму смысла,
глубь беспощадно мелькнувшего мига.
Смех — это солнце в ночи, где нависло
тьмы непроглядной угрюмое иго.

Еще раз ворваться, опять опоить
ароматами, парами ядовитыми.
Опоить, отравить, опьянить
красками, запахами, видами,
ибо только и достойно благословения
великое мгновение
дегустации и дефлорации:
последующие деформации
ведут к нежелательной акклиматизации.
Да здравствуют импровизации!

Снова ворваться. Поднять якоря.
Обрубить концы. Оттолкнуться. Отчалить.
Не возвращаться на круги своя.
К минувшей радости. К былой печали.
Обречь на заклятие
все воспоминания,
все наваждения памяти
похоронить в январской замети.
И тем более не думать о том,
что случилось бы, если бы да кабы...
Былое — уже напечатанный том,
а вовсе не черновик судьбы.
Снова ворваться. Не отступать.
Снова, снова ворваться. Все отменить.
Конечно же, реки не текут вспять,
но все еще можно переписать,
но все еще можно переменить.
К тому же надо в виду иметь,
что все однажды отменит смерть.
А если смерть — итог всему
и вскоре мы уйдем во тьму,
то мудрее всего не тужить,
не недужить, а — жить
от зари до зари — до могильной плиты,
воздвигая себе посреди суеты,
маеты и тщеты
эфемерную твердь монумента вечного,
подчинив себе суть скоротечного.

Я всегда живу так, как чувствую.
Я всегда думаю, как чувствую,
и чувствую так, как пишу,
а пишу — как дышу:
ароматами, ритмами и разными
восторгами, слезами, спазмами,
солеными, терпкими, едкими, немислимыми мыслями.

Чтобы домыслы, и помыслы, и промыслы мои
танцевали, извиваясь наподобие змеи,
чтобы реяли, и сеяли, и веяли, как ветер,
ибо есть ли что незыблемей на свете,
чем вольный ветер,
чем вечный ветер?..

Песенка

Я в эту женщину влюбился
навек и сразу. Я не стою
ее — как знать? Но эти очи
мне стали счастьем и бедою.

Я в эту женщину влюбился,
как не влюблялся я ни разу.
И не влюблюсь. Она и ныне,
наверное, зеленоглаза.

Я в эту женщину влюбился...
Любовь останется со мною
до самой смерти. Где вы ныне,
уста, пропахшие весною?

Я в эту женщину влюбился
и умер, — но, доверясь чуду
ее души, воскрес... Любимой
я и в могиле не забуду.

Ее зовут... Нет, эта тайна
умрет со мной — и с нею тоже.
Смерть не страшна. Но жаль, что в мире
никто, как я, любить не сможет!

Комментарии

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ (LEÓN DE GREIFF, 1895—1976). Выдающийся поэт, в творчестве которого чудесным образом слились воедино пронзительная музыкальность, смеховая карнавальность образного мышления и магическая сила вдохновенного словотворчества, словно восходящая к традиции В. Хлебникова. Автор поэтических книг «Стиховытворения» (1925), «Книга знаков» (1930), «Вариации на тему пустоты» (1936), «Груда хлама» (1954) и других.

«И пугач и неясуть...»

Пугач и неясуть — птицы из отряда сов.

Суть — здесь: пища, состояние сытости.

Трубка Лео Лэгриса

Лео Лэгрис (а также *Сергей Степанский*, *Эрик Фьордсон* и другие) — лирические герои Леона де Грейффа, под именами которых он публиковал свои стихи.

Баллада о странствующем трувере

Трувер — французский поэт-певец XII—XIII вв.

Хуглар — испанский средневековый поэт-певец.

Баллада о хугларе, трувере и менестреле

Авгур — в Древнем Риме жрец, толкователь воли богов.

Офир — мифическая страна, богатая золотом и серебром.

Антарес — звезда в созвездии Скорпиона.

Грустная баллада-псалмодия в духе покаяния

Туле — как считали античные географы — остров у Полярного круга, северный предел известного в то время мира.

Танец орангу-танго

Плутонг — группа орудий одинакового калибра на боевом корабле.

Сейба — гигантское тропическое дерево.

Нордический танец

...соком цикуты... — Этим соком был отравлен древнегреческий философ Сократ.

Сомнительная поэма о хмельном хугларе

Франсуа Вийон (1431 или 1432 — ?) — французский поэт.

Скерцо (serioso). — В этом подзаголовке содержится типичное для Леона де Грейффа противоречие, так как скерцо — шутливая, легкая музыкальная пьеса.

Сирано де Бержерак Савиньен (1619—1655) — французский писатель. Очевидно, имеется в виду его роман «Иной Свет, или Государства и империи луны».

Рассказ Сергея Степанского

...меч Сигизмунда... — Вероятно, речь идет о Сигизмунде I (1368—1437), императоре Священной Римской империи.

...прописанный Карлу Стюарту... — Очевидно, имеется в виду Карл I, английский король, казненный в 1649 г.

...на бритву, которой побрился Людовик... — Речь идет о французском короле Людовике XVI, гильотинированном в 1793 г. во время Великой Французской революции.

Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) — царица Египта.

...на лестницу — ту, что увидел Иаков... — По библейскому преданию, апостол Иаков увидел во сне лестницу, по которой ангелы взбирались на небо и спускались на землю.

Рассказ морехода

Ясон — в древнегреческой мифологии предводитель героев, отправившихся на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном.

Апекс — точка небесной сферы, в направлении которой движется Солнце.

Понт — так древние греки именовали море.

Пóрту — город в Португалии, родина португальца.

Аглая — в греческой мифологии одна из трех граций.

Сонатина

Эсперпенто (от исп. *esperpento* — страшилище) — маленькая гротескная пьеса-фарс в испанском театре XX в.